

# Иннокентий Анненский. Эстетика "Мертвых душ" и ее наследье

Серия "Литературные памятники" Иннокентий Ф. Анненский, М., "Наука", 1979  
OCR Бычков М.Н.

На низком и глубоком стуле сидит похудевший донельзя человек; на нем халатик и трогательно смятая вокруг тонкой шеи белая сорочка, с которой как бы не сошел еще отпечаток мучительной ночи. Сидит он, немного подавшись вперед, и смотрит прямо перед собою, и в самой позе его чувствуется то особое, пристальное, как бы хищное любопытство, которое умел испытывать только Гоголь.

Да - это Гоголь. Это - его тревожная заостренность черт, и его, столь для нас близкая, глянцеви́то завесившая ухо, скобка волос.

Прямо перед сидящим - широкий раствор очага, и огонь наивно похож там на прихотливо разросшийся тропический куст.

В ногах у Гоголя, возле самого огня, - казачок на корточках и ждет его приказаний. Один небольшой сверток мальчик, не глядя, уже подпалил, а другой и покоробившаяся от соседства с пламенем тетрадка ожидают своей очереди.

На камине не столько вещь, как эмблема - часы, но, должно быть, уже с тонко звенящим, больше не державинским боем {1}. На втором плане накрытый точно для молебна столик и там античная люцерна {2} и кто-то крылатый сделал последний шаг, чтобы дунуть на огонь светильника и погасить существование Гоголя. Но крылатому стало страшно или грустно? Он неловко осел на выступившую уже правую ногу и так и замер, закрыв лицо бескровными кистями рук. А в распахнутой двери остановилась сплошь, с головою, закрытая белая фигура, книзу расходящаяся конусом, и чья-то невидная рука высоко держит перед покрывалом небольшой и поблескивающий потир.

Я пересказал вам один *наивный и трогательный* рисунок {3}, сделанный в самый год смерти Гоголя. Вот еще, значит, когда началась гоголевская легенда. Я бы хотел, однако, посмотреть на рисунок Солоницкого немножко иначе, чем привыкли мы это делать, говоря о смерти Гоголя особенно. Забудем, хоть на минуту, о трагедиях. Пусть Гоголь здесь в последний раз и, несмотря на все немощи, страхи и напутствия, переживает еще раз и вопреки всему тот восторг дорожных созерцаний, в котором когда-то волшебнo слились для нас и Гоголь-фантаст, и Гоголь-реалист, и Гоголь раздумья, и Гоголь смеха, и Гоголь-ястреб, и сентиментальный Гоголь.

Пусть это не свиток загорается с отнятым у нас сокровищем, а уже готовый потухнуть - вспыхивает напоследок и тот единственный в мире поэт, который умел слить в экстатической любви к бытию, - не к жизни, а именно к бытию, - пыльный ящик с гвоздями и серой и золотую полосу на востоке и у которого прозрачный и огненный лист клена, даже сияя из густой темноты своей, не дерзал кичиться перед рябым столбом придорожья.

Пусть это еще прежний Гоголь устроил себе перед очагом последний праздник *золотого перебирания страниц жизни*, где, фантастически сменяясь, проходят перед ним пятна картин, то солнечных, то туманных, то лунных. Вот безвестный городишко весь засыпан месяцем. Вон - переправа на скользко-туманном рассвете. Вон - сад сомлел от полудня. И не опять ли сладострастно чередуется для Гоголя это, еще в детстве излюбленное им, засыпание в бодрящем холоде уже сдавшейся ночи и томное пробуждение под солнцем, почти отвесным. И ведь именно там, в дороге, даже скорей, пожалуй, в *воспоминании о дороге*, и рождались не только дразнящие пятна гоголевских картин, но и гениальнейшие из его *синтезов*. И даже самая Русь-Русь, чего ты хочешь от меня? - и та не была ли она лишь полудетским миражом в итальянской панораме воспоминания?

И разве не дорога, не гоголевская дорога с ее простором, с волшебной примиренностью ее пестроты, с ее унылым зовом и безудержным порыванием вдаль, - не вперед, заметьте, а именно вдаль, - безвестное, - разве не эта дорога дала Гоголю и те стихии, которые, слившись в один укори́зненно-фантастический символ, обусловили не только грандиозный план "Мертвых душ", но и неизбежность покаянной за них расплаты?

А что греха таить, господа... Ведь "Мертвые души" и точно тяжелая книга и страшная. Страшная и не для одного автора. Чего заглавие-то одно стоит, точно зубы кто скалит: "Мертвые души"... Ведь никогда и нигде в мире то, что называют пошлостью, так не покоряло и так не было прекрасно. Что уж тут на клячу-то заезженную ссылаться, - заездили, мол, добродетельного человека.

Да и отца Матвея {4} не лишнее ли беспокоить?

Дело в том, что в каждом из нас есть два человека, один - осязательный. один это - голос, поза, краска, движение, рост, смех.

Другой - загадочный, тайный.

Другой - это сумеречная, неделимая, несообщаемая сущность каждого из нас. Но другой - это и есть именно то, что нас животворит и без чего весь мир, право, казался бы иногда лишь дьявольской насмешкой.

Первый прежде всего стремится быть *типом*, без типичности - ему зарез. Но только второй создает *индивидуальность*.

Первый ест, спит, бреется, дышит и перестает дышать, первого можно сажать в тюрьму и заколачивать в гроб. Но только второй может в себе чувствовать бога, только второго можно упрекать, только второго можно любить, только второму можно ставить моральные требования, и даже нельзя их не ставить...

Гоголь оторвал первого из двух *слитых жизнью людей* от второго и сделал его столь ярко-типичным, люди у него вышли столь *ошеломляюще-телесными*, что